

Григорий Померанц

Верность себе. Часть 1.

Когда вернулись в Москву освобожденные лагерники и сбивались в кучки, обсуждая прошлое, я носился с идеей дополнить десять заповедей одиннадцатой: «Не предай». Сейчас я думаю, что кое-что уже было сказано, по крайней мере в христианстве, образом Иуды. Но даже священников, хорошо знавших Писание, отчаянье Иуды не удержало. Некоторые оправдывались тем, что предают отдельных людей и берут на душу грех, но спасают общину: храмы со священником-стукачом могли уцелеть. Другие находили смягчающие вину обстоятельства, сознавая свой грех, каюсь и избегая гордыни. Соглашались «стучать» верующие и неверующие, по партийно-комсомольской дурости и прижатые к стене страхом ареста, страхом беспросветной нищеты, голода, смерти в лагере, расплаты за действительные преступления (например, бывшие полицаи). Иногда потом мучались, пытались вырваться из сетей, в которые попали. Юрий Кутьин после ареста жены обходил своих друзей, предупреждая их, что дал обязательство и потому прерывает с ними все отношения. Иногда и с ума сходили. Анна Полякова и дочь ее Надежда Григорьева, рассказывали в своих опубликованных воспоминаниях, как целая семья стала семьей стукачей. Полякова получила возможность преподавать в вузе после трех лет беспросветной нищеты и не решалась отказаться от роковой подписки, но не выдержала моральной нагрузки, пришлось обратиться к психиатру. Обследовав больную, психиатр послал в органы безопасности свое заключение, что гражданка такая-то профессионально непригодна для возложенных на нее обязанностей. Ее отпустили с миром. Но дочь, когда ее вызвали, согласилась без сопротивления. Ей казалось, что это рутинное дело, примерно как вступление в комсомол. Мы обсуждали с ней эту проблему. Она уверяла нас, что не стучали только герои. На самом деле от вербовки можно было отказаться, да и вербовали вовсе не всех сплошь. Общим было другое: то, что Мандельштам назвал честным предательством, ложью в своей профессиональной деятельности, участие во всякого рода чистках и проработках. На этом фоне и вербовка и ломка на допросах очень облегчались. Писатель, предатель и палач оказались в одной упряжке. Это у Мандельштама хорошо описано и стоит вспомнить в связи с возвращением некоторых традиций:

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное «баюшки-баю»
Колхозному баю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
 Чесатель колхозного льна,
 Чернила и крови смеситель
 Достоин такого рожна.
 Какой-нибудь честный предатель,
 Проваренный в чистках, как соль,
 Жены и детей содержатель
 Таковую ухлопает моль.

Начиная с тридцатого года, с интеллигенции потребовали прямого участия в официальной лжи, в смешении чернил и крови, в ликвидации свободного крестьянства и волнах городского террора. К 1933 году основная масса населения страны уже разделилась на два слоя: честных лгунов-предателей и честных несунув, сброшенных на край голодной смерти и вынужденных тянуть что-то казенное с колхозного поля и государственного предприятия. Мандельштам просил уволить его от службы беспартийного большевика, запихнуть его как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей. Он не выдержал верность своей клятве. Поэты, оставленные божественным глаголом, часто падали. Но и самые сильные не выдерживали своей оторванности от социальной почвы, положения бильярдного шара, который в любую минуту мог получить удар кием и полететь в лузу (Мандельштам дает эту метафору в статье «Конец романа»). Нужен был допинг, восстанавливающий чувство связи с миром. Чаще всего таким допингом был алкоголь. Не уступая напору государства, сохраняя верность себе в сопротивлении пропаганде, люди выходили из чувства невыносимого одиночества, напиваясь и незаметно отдаваясь алкоголю. Входя в обмен веществ, он растворял в себе личность, стирая ее неповторимые черты, и в памяти окружающих оставалась часто только фамилия погибшего.

Потерять себя можно было по-разному. Одним из путей искажения личности была матерщина. Не в среде, где к ней привыкали с детства, а у художника, поэта, артиста. Советский разведчик, попавший в руки к японцам, непрерывно матерился, чтобы выдержать пытку. Ольга Бергольц материлась, чтобы вынести советскую власть. С течением времени это стало модой. Но вот вопрос: не застревают ли в душе привычка к черному слову? В народных вариантах «хождения Богородицы по мукам» есть такой духовный стих: Христос-Вседержитель дает матери невод и разрешает выловить из ада грешников, ни разу не выругавшихся черным словом. Федор Абрамов передает эту традицию устами старовера, который говорит комсомольцам о тройном кощунстве черного слова, о грехе против родной матери, Богоматери и матери сырой земли.

От черного слова остается след, подобный въевшейся грязи. Брань помогает в схватке, мобилизует какие-то силы, но это призыв к дьяволу в борьбе с дьяволом, и свой, союзный дьявол укрепляется в уме. Так черное слово попадает и на женские уста. Я думаю, что Ольга Бергольц, ежедневно выступая по радио в осажденном Ленинграде, не нуждалась в черном слове, когда поддерживала дух замерзающих, умирающих с голоду ленинградцев. Ее называли тогда блокадной Богородицей. Не только цензура не выпустила бы черного слова в эфир, но и в душе, открытой несчастному городу, оно не могло родиться. Черное слово родилось в ответ на постановления о Зощенко и Ахматовой, в ответ на мерзости, которые народ поддерживал и одобрял. Даниил Гранин рассказывал по телевидению, как в писательский дом отдыха заехал микроавтобус с экскурсией гебешников. И как раз в этот миг вышла Ольга Бергольц, несколько нахмеле, и высказала все, что она о чекистах думала, в таких словах, которые они заслужили. Чекисты жаловались секретарю Ленинградского обкома. Толстиков вызвал Гранина, требуя принять меры. Гранин ответил, что меры принять нельзя. Почему? – спросил Толстиков. Потому что Бергольц – это история... Толстиков что-то понял и отступил, как Борис Годунов перед юродивым Николкой.

Ольга Бергольц не с нуля начала юродствовать. Перед войной она еще считала возможным высоким слогом рассказывать о нашей судьбе в самиздатных, не назначенных к печати стихах.

Нет, не из книжек наших скудных,
 Подобья нищенской сумы,
 Узнаете о том, как трудно,
 Как невозможно жили мы.
 Как мы любили горько, грубо,
 Как обманулись мы, любя,
 Как на допросах, стиснув зубы,
 Мы отрекались от себя.
 За образ горестно любимый,
 За обманувшую навек
 Пески монгольские прошли мы
 И падали на финский снег.
 Но наши цепи и вериги
 Она воспеть нам не дала,
 И равнодушны наши книги
 И трижды лжива им хвала.

Судя по приметам времени, это 1939-1940 гг. Потом пришла большая война и большая иллюзия, что Сталин просто переборщил со страху в борьбе с пятой колонной и перегибы уже исправляются (вот Рокосовского вернули) и

все будет совершенно исправлено после победы. Только бы выдержать! И Бергольц все свое сердце вкладывала в передачи блокадного радио. Но после войны пришли только новые волны террора и новые потоки гнусностей, лившихся из газет и репродукторов. Этого уже нельзя было вынести – разве только обратившись к Богу. Но в Бога наше поколение не верило, и проклятия заменяли нам молитвы.

Еще одним стилем жизни отщепенца было самозабвение короткой связи (долгие в жизни бильярдного шара не получались). Вот один достоверный известный мне случай. Женщину вызывали свидетельницей. Выпускали в четыре часа утра, и каждый раз не было ясно, подпишут ли на рассвете пропуск. На одном из допросов показали фотокопию писем мужа, писавшего матери, что он полюбил другую и решил на развод. Вспышку страсти простила бы, но писать матери, ничего не сказав ей! Образ чистого человека сразу раскололся. Почерк мужа невозможно было подделать, но еще невозможнее было ступить в расставленную ловушку. Не дрогнув лицом, женщина сказала, что фотокопия – фальшивка. Только дома расплакалась. Друг, ждавший ее возвращения, утешал ее как мог. Ей нужно было больше, чтобы заснуть и собраться с силами перед следующим допросом. Традиция Серебряного века была на ее стороне. И женщина сказала мужу своей подруги: ненавижу твою добродетель. Он обнял ее и помог уснуть. Связь длилась до конца следствия.

Но следствие кончилось. Что дальше? Дальше не захотелось уплатить полную цену за свою солидарность с врагом народа, за отказ от обычного в таких случаях развода. Решила уехать за несколько тысяч километров и соврать в анкете. Это было ошибкой. Преподаватели высшей школы со всех концов съезжались на каникулы в Москву и в курилке обсуждали скандалы. Бросить все в середине курса уже нельзя было, каникулы висели, как дамоклов меч, в душу вполз страх и за страхом – вторая ошибка: найти забвение в романах с коллегами, ухаживания которых ее скорее отталкивали; в них не было сочувствия друга – только пьяная чувственность, которую она всегда презирала и теперь принимала как снотворное. Недовольство собой, презрение к своей слабости дошло до того, что она совершенно не меняла посуду, ухаживая за подругой, больной туберкулезом в открытой форме, предоставив судьбе решить, заболеет ли она сама или нет. Верность себе, выдержавшая испытания следствия, не выдержала страха перед коллективом честных предателей, которые при первом сигнале свыше будут топтать ее ногами.

Так это и вышло. Коллектив был искренне возмущен обманом советского государства и моральным разложением, которое она внесла в его среду. Больше всего лили ей на голову помои собутыльники и кавалеры, торопившиеся отмежеваться от скверны. Только после этого советского

обряда, напоминавшего побиеие грязью в фильме Абуладзе, была выдана трудовая книжка и характеристика, которую лучше было никому не показывать.

Надо было отдышаться. Неподалеку, в Тайшете, жил старший брат, отбывший лагерный срок. Три месяца женщина прожила, слушая его лагерные стихи и бродя по окрестным лесам. Поэзия и природа заменяли ей, как и многим в нашем поколении, молитвы и таинства. На прогулках всплывали в памяти тысячи строк, которые она знала наизусть, и душа возвращалась к себе самой. Ира (так звали эту женщину) не запоминала ни одного сального анекдота, который при ней рассказывали. Смеялась – и тут же забывала. Больше того. Случай почти невероятный, но у нее не было активного знания ненормативной лексики. Когда произносились известные слова, понимала их смысл, как слова иностранного языка при пассивном владении им, но в живую речь, даже про себя, они не могли попасть, она их не помнила. И в снах у нее не было грязи. Я ей завидовал белой завистью. Мне то и дело приходилось подметать свою память, где по углам оставался сор с войны, из лагеря, из повседневных встреч с плебсом. Ей подметать было нечего. И за три месяца абаканский клубок был осумкован, как раковая опухоль у Солженицына. Живыми в организме оставались только туберкулезные палочки, но они пока вели себя тихо, ожидали своего часа.

В прояснившемся уме стало очевидно, что надо поехать в Москву, в министерство просвещения, рассказать все, как есть, и напомнить о конституционном праве на труд по своей специальности. В министерстве подумали – и дали ей путевку в глухой угол Сибири, где в школах работали ссыльные немки Поволжья. Так, буквально было исполнено заветное Мандельштама: запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей... Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первозданной красе...

Школа оказалась экологической нишей, где почти не было проверок и можно было после уроков рассказывать подросткам Гамсуна, Гофмана, Грина... Оттуда она ездила к мужу на свидания, и по дороге в поезде ее настигла любовь к соседу по купе. Он знал наизусть ее любимые стихи, он говорил о Париже словами Волошина. В огромной, вычищенной от прошлой культуры России это казалось чудом. Полетели друг к другу письма. Попутчик предложил ей выйти за него замуж. Она готова была жить с ним в одном городе, в одной квартире, но не разводиться с заключенным. Владимир Иванович был намного старше Иры и привык к более укорененной жизни (физиков советская власть берегла для каких-нибудь новых убийственных открытий). Ответ Иры был для него слишком романтичным, и он оборвал переписку. Бегая на почту за весточками, которых не было, Ира простудилась,

заболела воспалением легких, пошел в ход туберкулезный процесс. Приснился сон, что Владимир Иванович умер, и ей самой захотелось умереть. Вытащили жить ученики, обожавшие свою учительницу, каждый день навещавшие со своими сибирскими лакомствами. Худая, как скелет, она встала, вернулась к работе, и постепенно жизнь пошла своим чередом. Но на фоне любви, опалившей ее в поезде, солидарность со вторым мужем, из-за которого она порвала с отцом своих детей, оказалась еще одним обманом сердца.

Когда муж был реабилитирован и вернулся из лагеря, Ира была рада за него, но не за себя. При первой встрече это обнажилось. Трещина быстро расширялась. Муж стал искать причину и добрался до абаканских сплетен. Ошеломленный, он потребовал рассказать все. Но к подробностям абаканской ямы Ира не могла прикоснуться. Даже мне, принимавшей ее от гребенок до ног, не могла рассказать, дважды начинала и останавливалась, несмотря на клятву, что ничего скрытого между нами не будет. Предложила мне лучше прочесть ее записную книжку, хранившуюся у подруги, но и книжку не торопилась передать, и я ее не торопил. Было очевидно, что к абаканским воспоминаниям ей можно прикасаться только бегло, не вникая в подробности, не беря злокачественную ткань. На вопрос, похожий на допрос, она просто не могла ответить, попыталась выйти из комнаты и рухнула в обмороке. На этом два усталых больных человека преслали выяснять отношения и отчуждение повисло, разрастаясь, в воздухе их дома.

Я уже знал о скелете в шкафу, когда меня попросили навещать больную, оставшуюся одной в пустом доме. Не хотелось продолжать спор о возможностях позитивизма, и я предложил читать по вечерам стихи. И тут Иру прорвало. В обществе она читала несколько отстранено, не ставя себя на место автора, – так как читают стихи в научном докладе. Но перед единственным слушателем, посланным судьбой, чтобы прервать вынужденное молчание, она всю себя вложила в чтение и всю себя выразила в чужих стихах. Это была страстная апология человека, жившего по правде стиха, как можно жить по Евангелию, жизнью, идущей дорогой стиха к сказочной вечности напрямик (две последние строки – из стихов брата, Владимира Игнатьевича Муравьева, заученных в Тайшете). Или, если взглянуть сквозь глаза Цветаевой, это был синий огонь, огонь стихийных духов, воплотившийся в человека, ставший плотью и по-человечески прорвавшийся сквозь Сциллу и Харибду советской жизни, израненный ударами о рифы, смертельно раненный, но живой последним всплеском жизни. То, что медицинская статистика давала Ире, при ее болезни, не больше десяти лет жизни, тоже чувствовалась в ее страстном чтении, хотя умом я ничего о статистике еще не знал. А узнав – берег Иру, как раненый свою единственную ногу.

Бог был милостив к грешнице. Последние годы ее жизни были счастливыми. Но ей хотелось прожить больше десяти лет, которые давала

медицинская статистика. И она согласилась на рискованную операцию и умерла на операционном столе.

Так кончилась одна из попыток сохранить верность себе, не доходя до верности таинственному вожатому, опираясь только на силу стихий, непокорных никакой власти. Я прошел через ее смерть, как через собственную смерть, но когда я встал на ноги, – закружился вокруг Бога. Он тянул меня к себе и отталкивал привычными образами, созданными Преданием. Я не мог поверить в Бога, без воли которого и волос не упадет, и сейчас просто верю в ту глубину сердца, где человек встречается с таинственным сердцем вселенной, и чувствует Бога, как огонь-бел, как пламя без дыма. Я имею в виду образную классификацию страстей, созданную Цветаевой: огонь ал (чувственную страсть), огонь синь (поэтический захлеб, вспышку сердечной страсти) и огонь-бел, любовь к Богу.

Образ Иры навсегда останется во мне, но поэзия Серебряного века с ее культом стихийного, с ее культом разрыва с бытом во имя чего бы то ни было, хотя бы в объятия вампира из поэмы Цветаевой «Молодец», хотя бы в полет из окна: «счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, но иной»... – вся эта поэзия синего огня завершилась революцией и исчерпала себя в революции. В глубине сердца остались для меня только высшие взлеты поэтов – из синего огня в огонь-бел: «Куст» Цветаевой, «Шестое чувство» Николая Гумилева и т.п. Но мощь синего огня я чувствую. Что было, то было; но нельзя быть верным себе без иерархии огней, без решительного предпочтения белого огня синему, без воли тушить огонь-синь, когда он становится огнем ненависти.

Войти в огонь-бел – значит войти во внутренний мир рублевской Троицы, увидеть под символикой догматических образов круговорот жизни созерцателя, то есть то, что жизненно необходимо.

Созерцать – значит не просто глядеть на дерево, на икону, на святого. Это значит одновременно вглядываться внутрь и наружу. Царство Божие внутри нас и вне нас. Князь Мышкин созерцает действительность сквозь царство Божие внутри своего сердца и видит царство Божие в дереве, в Настасье Филипповне, в Аглае. Только дерево его не подводит, не дает власти демоническим страстям, а собеседницы поворачиваются к нему то ангельским, то демоническим ликом и сводят его с ума. «Дьявол с Богом сражается, и поле битвы – человеческое сердце», – писал Достоевский, и в другом месте, устами Мити Карамазова: «Широк, слишком широк человек, я бы сузил». Вступая на это поле битвы, созерцатель, открытый тишине, открытый голосу тишины и не защищенный от криков, не притупивший слух в грохоте, кажется болезненно ранимым и действительно очень раним. Он истощает свои силы и может совсем погибнуть, если порой не уходит в отрешенность, в тишину, из которой чужие страсти его вырывают.

Этот круговорот истощения и восполнения нарисован в Троице Рублева. Ангел, сидящий одесную отрешенного света, – для зрителя левый, – готов броситься к людям, одержимым бесами страстей, отгонять молодцев-вампиров и исцелять одержимых. Истощение его остается вне поля иконы, но правый (для нас) ангел уже истощен, уже почти умерщвлен, почти воскресает из мертвых и пристраивается к среднему, к отрешенному созерцанию, чтобы воскреснуть, чтобы набраться сил. Конечно, это очень обобщенный образ, и он не дает готового указания на каждый случай жизни. Рублев дает другое – образ Спаса; вглядываясь в него, мы можем угадать след Божий, пересекающий все принципы, законы, заповеди, ведущий к правде здесь и теперь, не записанной ни в каком писании. По Божьему следу, следуя за незримым вожатым, и сегодня можно выбираться из нашей путаницы. Но большинство посетителей Третьяковской галереи проходят мимо икон Рублева, даже не пытаясь осмыслить их, люди устали от синего огня революций и войн и уходят от него – не вглубь, а к поверхности, к апатии зрителя телепередачи, успешно отучающей – и от подлинных мыслей, и от подлинных чувств. Вспышки алого огня, гаснущие после первой усталости, заняли место сердечного жара, короткие лозунги – место мысли, вдумчиво пробирающейся между противоречий.

Сегодня другие соблазны, чем в годы моей юности, и иначе складывается внутреннее пространство личности, верной себе. Грубые средства давления стали достоянием провинции, там они могут даже переживать известный ренессанс. Но в большом мире господствует электронная лоботомия (операция, после которой буйный помешанный становится тихим идиотом). Телевидение приучает глотать обрубки мыслей, иллюзии очевидностей, усталому человеку дают прожеванную пищу, и у него выпадают ненужные зубы. Исчезает привычка перечитывать книги, выгрызая из них свою собственную подлинность. Жизнь плещется на поверхности бытия как планктон, игрушкой пиаров. Сравнительно с этим убожеством хочется вспомнить добрым словом героев серебряного века, которым история навязала роль мучеников – и они делали, что могли и как могли. Не выходя из власти стихий, не отказываясь от гордыни, но знавших и прикосновения к белому огню, к шестому чувству.